Недосказанное

Как часто мы не успеваем вовремя объясниться в любви. То не к месту застенчивость нападает, то на завтра отложишь, а то, глядишь, с тем, кому вчера объясниться собирался, нынче уж и поссорился. И ссора-то пустяковая, на пять минут, а поди-ка потом снова соберись.

Актеры — существа особенные. Казалось бы, коль знаменит на всю страну, коль поклонницы по пятам ходят и автографы выпрашивают, коль от репортеров отбою нет и критики хвалят — чего еще надобно? Работы? Так и ее навалом.

Нет, хочется, чтоб и хвалили шибче, и чтоб ролей предлагали больше, и пусть бы кто-то, кто хорошо тебя знает, всему бы свету рассказал, какой ты замечательный. И всякий раз, когда я что-то говорила Юре Богатыреву про фильм или спектакль, где он играл, он все время приговаривал: "Так вот взяла бы и написала!" Потом он раскладывал на столе или на полу папки с рисунками — старыми и новыми — я ахала, восторгалась, рассказывала, что я в рисунках этих вижу и как их понимаю, а он снова, глядя куда-то в сторону, бормотал: "Так вот взяла бы и написала".

Мы познакомились, когда он был уже очень популярен, о нем много писали, его работы в театре и в кино мгновенно разбирались коллегами-критиками буквально по косточкам, да к тому же и жанр актерского портрета в те, почти двадцатилетней давности, времена особого энтузиазма у меня не вызывал. То есть, конечно, хотелось сочинить про него что-то эдакое, особенное, но вне рамок стандартно заказываемых описаний образа положительного героя. Для "чего-то особенного", однако ж, требовался и особенный повод. А писать просто так, в стол, казалось тогда абсолютно нерациональным. И потому мне, наконец, был сделан вполне официальный заказ. Тоном, не принимающим возражений, Юра сказал: "Через месяц мне будет сорок. Чтоб села, написала и мне подарила. Срок вполне достаточный, а уж опубликуешь потом или нет — неважно. Пиши для меня про меня. Договорились?"

Писать "для него и про него" оказалось, как это ни смешно, делом нелегким. Все, что ни начиналось словами "Актер Юрий Богатырев" или "Народный артист" или любыми другими, выглядело в этой ситуации нелепо. Так вот и возник сам собой этот рассказ, эссе или новелла — как ни обзови — "Картинки Муромцева". Как только имя заменилось (вместо Богатырева — Муромцев), все сразу само пошло. Сочинять,

Картинки

Муромцев опять был не в духе и мрачно острил по поводу очередной полосы невезения. Мы с ним вроде бы друзья (ровно настолько, насколько вообще кто-то мог бы сказать о себе, что он – друг Муромцева), и поэтому при мне он позволяет себе быть откровенно не в духе, жаловаться, что зубы болят, и что вообще это не жизнь, а ерунда какая-то. Для посторонних у него всегда все в порядке.

Дело в том, что Муромцев известный актер, заслуженный артист республики, лауреат всяких разных премий и фестивалей, и фотокарточки его продают во всех киосках. Причем, и это объективно, он – не однодневка какая-нибудь, а действительно очень хороший актер. Один из лучших. Из самых. Хотя и молодой еще – до сорока ему прилично.

Одевается он подчеркнуто небрежно и небогато, хотя опрятен исключительно. Ходит ни на кого вокруг не глядя (но глядит, однако, очень внимательно) и сердится, когда его на улице узнают, обращают внимание (дудки – конечно, доволен! Во всяком случае – пока). Не узнать его, тем более не заметить – невозможно. Уж очень особенный. Такой весь большой – высокий, массивный, тяжелый. Диву даешься, когда на сцене или на экране он оказывается стремителен, легок, грациозен.

Впрочем, о чем речь? Да, так вот: Муромцев был не в духе. Это с ним случается периодически. Он много разнообразных причин может назвать. Вплоть до погоды. И это все, в общем, будет близко к правде. Но реальная причина всегда одна и та же: ролей нет. А та, что так ему нравилась и просто как для него была создана, – уплыла в чужие руки.

– Ну скажи, – взывает он (только он так умеет: и горячо, и лениво, и по-детски растерянно, и патетически – все сразу) – ну объясни ты мне: па-че-му? Вот чем я ему нехорош? И что интересно: ведь он хотел мне эту роль дать, я точно знаю. Но подумал-подумал, и решил, что Каюмов моднее. Ну как же нынче без Каюмова!

Я слушаю вполуха: это он уже не в первый раз выясняет. Обиженно-басовито рокочет богатый муромцевский голос. Я гляжу на стенку, и Муромцев оживляется: "А это у меня новые картинки. Эти вот не мои, мне подарили. А это – я..."

Он мог бы и не говорить: и так ясно, которые "картинки" – его. Руку Муромцева отличишь сразу.

Про рисунки Муромцева неловко говорить "картинки". Это уж так – домашний термин. Впервые его "картинки" мне довелось увидеть в момент знакомства с ним. Он сидел на кухне, весело болтал о каких-то пустяках, а на коленях у него стоял планшет с листом ватмана; Муромцев что-то рисовал. Это была кухня в большой коммунальной квартире, где жили актеры. Кто-то входил и выходил, любопытные заглядывали через плечо. Его это не смущало. Он тут же по ходу давал пояснения, что это – портрет приятеля, молодого драматурга, в чьей пьесе Муромцев играет главную роль, и вот сейчас сюрпризом ко дню рождения он решил по памяти сделать этот портрет. Он развернул планшет ко мне. Боже правый!

Представьте себе, что вашего хорошего знакомого изобразили в виде книжного шкафа. И это тем не менее, не карикатура, не шарж, – это именно портрет, точно передающий сходство с оригиналом, ухвативший и человеческую и духовную его суть, и даже в чем-то предсказывающий, угадывающий его будущее. Все остро стилизовано, хотя каждая деталь разработана тщательно и подробно. Смешной, грустный, проницательный портрет. Злой и добрый одновременно.

Злой и добрый... Заманчивей всего сейчас было бы заявить, что, дескать, все пришедшее мне в голову по поводу того портрета, все парадоксальные сочетания черт, – это и есть сам Муромцев, это его черты. Хотелось бы, да не выходит. Совсем не злой, во-первых. Бывает саркастичен и язвителен. Иной раз – до жестокости. И все же – не злой, определенно. Добрый? Пожалуй. В том смысле, что никому не сделает пакость, что не откажет в помощи, не отвернется от тебя в несчастьи. Если, конечно, будет знать, что есть несчастье, что нужна помощь. Если скажешь. Сам – не почувствует, не заметит. И не оттого, что нечуток, – оттого, что умеет защититься от чужих невзгод. Зато именно поэтому он, неплохо разбирающийся в людях, обладает удивительным, редкостным даром видеть в них лучшее, почти недоступное обычному взгляду.

Мне это его свойство открылось внезапно. Узнав, что я "собираю досье" на Каюмова, Муромцев шутливо надулся (впрочем, не вполне чтоб и шутливо). "Ну вот, конечно, всегда так: дружить – это со мной, писать – это про Каюмова. А я добрый. Я вместо того, чтобы расплеваться с тобой немедленно и навсегда, кое-что тебе подарю. Авось пригодится".

Ни тогда, ни после, годы спустя, он даже и не догадывался, какой ценности подарок он мне сделал. Это был давний-предавний портрет Каюмова. Вернее, эскиз до кондиции так и не доведенный. Он меня поразил.

Выполненный совсем не в муромцевской манере, совсем не стилизованный, аскетичный, даже несколько лапидарный по форме, портрет этот очевидно и нескрываемо прикрасил оригинал. Облагородил, облегчил черты, одухотворил, высветлил лицо, смягчил характер, сделал печальными и добрыми жесткие, колючие в действительности глаза. Странно: коль уж решил он сделать "комплиментарный портрет" коллеги, то ему ли, художнику, не знать, что есть для этого наивернейшее средство – неотразимо обаятельная каюмовская улыбка. Нет, не захотел воспользоваться. Придумал (или увидел?) другое.

Кстати, сам Каюмов ничего такого не заметил, воспринял как естественное: "Ай да Муромец! Ну все точно, именно такой я тогда и был. Совершенно такой!"

Не знаю, не знаю. История этого портрета была мне известна. Шли съемки фильма: пятеро актеров играли очень близких друзей, и режиссер-дебютант сумел создать во время этих съемок удивительную атмосферу взаимной всеобщей симпатии, дружбы, душевной близости. Актеры в быту прониклись друг к другу теми же чувствами, что и их герои. Среди пятерки были и Муромцев с Каюмовым.

Может, это и бред, но до сих не могу разубедить себя в том, что, рисуя этот портрет, Муромец (тогда еще дебютант) выдумывал себе такого Каюмова и каюмовского героя, каких не мог не полюбить. Мне потом не раз приходилось замечать, как Муромцев "пересочиняет" для себя реального человека, несмотря на то, что действительная суть от него вовсе не ускользает.

И все же нет-нет, да и посетит меня мысль: а может, впрямь Каюмов тогда, много лет назад, на тех съемках **был такой**?

Я, наверное, до сих пор не знаю – какой он, Муромцев. Хотя самонадеянно думаю, что знаю. Он "складывается" в моем представлении из нескольких "образов". Впрочем, это уже особый разговор – Муромцев и его "образы" (не те, что на сцене и в кино, а те, что в жизни). Во-первых, Муромцев работающий. Аккуратный, точный до педантизма, никогда никуда не опаздывающий, назубок знающий текст роли (хотя учить роль для него адово мученье, одна из самых неприятных и трудных сторон профессии). Выдумщик, импровизатор, в общем – артист. Работать с ним – удовольствие для хорошего режиссера, и большое облегчение для плохого: сам все сделает. На вопрос, как ему работалось с одним очень средним режиссером, Муромец выдал очередной крылатый афоризм: "А что, он мне почти не мешал!"

Муромцев номер два – для чужих и малознакомых людей: уравновешенный, корректный, внимательный. Роль немногословного, замкнутого, очень-очень спокойного человека ему весьма идет. Он немного играет голосом, мягко опуская его в конце фраз, говорит веско (и взвешенно), и производит великолепное впечатление на журналистов и зрителей тем, что "в нем нет ни капли актерства".

К тому же самого себя такого он блестяще потом пародирует. Это уже Муромцев номер три – для своих, когда их не слишком много сразу. Тут он – душа компании, иронист, остроумец (но не патентованный остряк, не записной анекдотчик, хотя умеет рассказывать анекдоты, как никто: он их показывает). Объектом для иронических эскапад может быть кто угодно и что угодно. Он не прочь элегантно позлословить о коллегах, и вовсе не обязательно за глаза. Присутствующим достается тоже, но обижаться на этого обаяшку Муромца ни у кого нет сил. Впрочем, и храбрости. Поскольку всякий, кто обидится на его зубоскальство, рискует навек обзавестись репутацией человека без чувства юмора. К тому же Муромец прямо светится добротой, излучает ее всем своим лицом, всей могучей своей фигурой. Одно слово – Муромец. Такой приветливый, радушный, доброжелательный. Правда, когда кольнет особенно чувствительно, искоса внимательно глянет: не перебрал ли. Нет, кажется, не перебирал. В самый раз.

Муромцев, говорящий об искусстве, – спектакль особый. Тут уж никакого пафоса. Простота, серьезность, вдумчивость. Если горячность, то искренняя, почти юношеская. Спорит пылко и убежденно, обсуждает фильм, спектакль, роль, картину, книгу – смакуя детали, если затрудняется в определении – долго и подробно объясняет мысль, пока, наконец, сам же и не отыщет нужное слово, формулу. Если составил мнение – разубедить его невозможно. Разве что сам через некоторое время пересмотрит свою точку зрения. Но память его иногда подводит, и позабыв, что говорил в прошлый раз, он вдруг начинает горячо и искренне доказывать прямо противоположное. Причем, система аргументов, почти не меняясь по сути, кардинально меняет знак с плюса на минус и наоборот.

Еще один вариант – Муромец доверительный; это обычно в беседе тет-а-тет. Подозреваю, что этот вариант имеет свои "подварианты", с поправкой на личность визави, но судить могу лишь исходя из собственного опыта. В моем случае это очень нервный, фатально невезучий человек. Тут все просто: я – критик. Человек из враждебного лагеря (хотя, клянусь, мне в жизни не доводилось ни читать, ни даже в кулуарах слышать, чтоб кто-то бранил Муромцева. Ну, разве что сетовали, что массивность его начинает приобретать угрожающие размеры). Тем не менее, как и полагается уважающему себя актеру, он на критиков в обиде, и на присутствующего отчасти тоже. Это несмотря на то, что и письменно и устно я с усердием (и не стремясь к оригинальности) утверждаю, что он выдающийся актер. И ни капли при этом не кривлю душой. Но мне регулярно напоминают признание, сорвавшееся у меня с языка в минуту душевную и доверительную: знаешь, поначалу ты меня ужасно раздражал. Даже не знаю чем. (Тут я, конечно, вру. Знаю, и очень хорошо. Но об этом в свой черед). Итак, фатально невезучий человек.

Он всегда хотел быть актером, во всяком случае, с тех пор, как себя помнит. И всегда это скрывал от окружающих и от родителей. Семья, главой которой был морской офицер в солидном чине, не оценила бы этой мечты. А может, и оценила бы, но он не хотел рисковать: самолюбив и раним был чрезвычайно, хотя и это тщательно скрывал. И в артисты решился идти в уже достаточно зрелом возрасте. Но душевная смута и моральные травмы юности не прошли даром, переродившись со временем в мучительную ревность к успехам и славе коллег, хотя мало чьи успехи и слава были больше, чем его собственные. Зато Муромцев чувствует, видит чужую удачу, чужое достижение моментально: актерского снобизма он почти лишен. Кроме того, в нем постепенно развивается искреннее и болезненное недовольство тем, как складывается его собственная актерская судьба. До работы он всегда был жаден, а когда стал знаменит и вроде мог бы успокоиться, вдруг вбил себе в голову, что все его забыли, все затирают.

Сказать по чести, доля истины в этом есть: он действительно способен на большее, чем до сих пор удавалось сделать. Развернуться во всю свою ширь и мощь, выложиться до последнего предела – вот чего Муромцев жаждал, а роли такой не было. Увы, в таких ролях постановщики видели артистов посубтильнее: Муромцева было слишком много. Это пугало. Его было много во всем, а любая избыточность (в том числе и таланта) всегда настораживает. На него трудно найти узду, он выламывается из привычных рамок. Не раз бывало и так, что он в конце концов получал в театре роль, о которой мечтал с самого начала, роль, которую до него поручали другому артисту. И всякий раз, когда Муромцев входил в готовый уже спектакль, спектакль решительно менялся. И всегда это было необычно и хорошо. Но ставилась новая пьеса, и все повторялось вновь.

Словом, с чего бы ни начинался наш разговор, он неминуемо приходил к этой невеселой теме. И тогда мне ничего иного не оставалось, как включаться в эту странную игру: анализировать уплывшие от него роли с той точки зрения, как бы он мог их сыграть.

Так однажды и вырвалось у меня признание в том, что оценить его по достоинству, даже просто привыкнуть к его игре, мне удалось не сразу.

Муромец прямо передернулся весь, ощетинился, сразу стал колким и ироничным: "А чем, позволь узнать, так долго не мог угодить?"

Слово за слово, назрела и произошла ссора. Это тоже случается периодически; мы оба знаем, что это немножечко ритуал – артисту с критиком положено браниться. Поэтому назавтра нам даже не нужно делать вид, что ничего не произошло: так оно и есть на самом деле, и беседы при ясной луне (так как они, как правило, затягиваются далеко за полночь) начинаются с той точки, на которой прервались в прошлый раз.

Суть же моего раздражения заключалась в том, что в каждой новой роли он был абсолютно иным. Ничего, ни единой черточки от предыдущей. Он словно выскальзывал из рук как раз в тот торжественный миг, когда казалось, что вот его уж и ухватил, и раскусил, и понял. Он вывертывался как угорь из всех прикладываемых к нему схем, всякий раз оставляя тебя в дураках, да так легко, так ловко, так артистично, а ты, со своим "ключиком", уже было подобранным к "ларчику", сиди и утешайся мыслью, что тебя снова надули.

И что обиднее всего, каждый раз казалось: господи, как просто, и чего было давеча голову ломать! Вот ведь он какой **на самом-то деле**. Вот и раскрылся весь, как на блюдечке; там была игра, перевоплощение, а суть-то – вот она. Привыкнуть к тому, что у актера нет какого-то четкого "имиджа", да что "имидж" – облика раз навсегда определенного, и то нет – было трудно. Он ломал все привычные стереотипы, все клише. Его надо было так и воспринимать, как вечно ускользающую реальность, без жестких очертаний, как загадку без разгадки, а этому нас не учили. "Все можно понять, вычислить и разгадать, был бы талант", – такая мысль внушена было со студенческой скамьи, и значит под сомнение надо было ста-